

Моя память о В. В. Бибихине

о. *Вл. Зелинский*,
протоиерей, настоятель прихода «Всех скорбящих радость» в г. Брешия (Ломбардия),
elrish@yandex.ru

Аннотация: Предлагаемый вниманию текст — это воспоминания о. Владимира Зелинского о Владимире Вениаминовиче Бибихине. Он был зачитан Э. Сагетдиновым на Первых Чтениях памяти Бибихина В. В., проходивших в 2019 году в городе Бежецке Тверской губернии.

Ключевые слова: Бибихин В. В., о. Александр Мень, Трауберг Н. Л., Джимбинов С., о. Глеб Якунин, Аверинцев С. С.

Все мои отношения с Владимиром Бибихиным, достаточно долгие, прерывистые, тесные, не всегда легкие, иногда чуть конфликтные, были отмечены некой мягкой ласковой странностью, своеобразной «юродивинкой», которая и привлекала в нем, и как-то провоцировала. Но для начала должен сказать, что знал я Володю до его «славы» (впрочем, гораздо меньшей, чем он заслуживает), до известных его лекций и публикаций, которые, несомненно, в нем уже готовились, созревали, а может быть, уже были готовы, но прятались где-то и никак не всплывали на поверхность даже для близких друзей, к которым автор сих строк какое-то время относился.

Уже первое знакомство с ним было не совсем обычным и потому запомнилось хорошо. Летом 1962 года я сидел в Исторической библиотеке в Армянском переулке в Москве, читая и старательно конспектируя двухтомную «Историю новой философии» Вильгельма Виндельбанда. Мне рекомендовал ее Яков Эммануилович Голосовкер как лучшее пособие по сему предмету, существовавшее тогда в русском переводе. Видимо, бодрое интеллектуальное усилие по-своему отражалось тогда на моем лице и служило неким безмолвным приглашением к общению. Потому, наверное, неожиданно ко мне и подошел молодой человек, как-то не по-библиотечному официально одетый и, безо всяких представлений, наклонившись, тихо спросил: «Что вы читаете?» Вопрос был задан очень участливо, отнюдь не бесцеремонно, но все же... Все же в библиотеках не подходят просто так, о чужих чтениях не спрашивают... Я показал обложку: «Вот, читаю «Историю философии» Виндельбанда». Видимо, смутившись от спонтанно проявленного интереса, любознательный юноша (ему было тогда 23–24 года, мне на четыре года меньше), других вопросов не задавая, тотчас отошел к своему месту, оставив после себя атмосферу недоуменного любопытства, изначально дружественного, но так и не разъясненного. И эта тональность сохранилась в общении с ним до самого конца. Оба мы досидели до закрытия библиотеки, а после вышли вместе и наконец познакомились, разговорились. После чего, беседуя, совершили долгую прогулку по летней Москве.

Потом в нашем общении наступает пауза на 10 лет, и возобновляется оно столь же необычным образом, опять не по моей инициативе. Уж не припоминаю предлога, но, кажется, он позвонил мне жарким летом 1972 года, я позвал его к себе, в то время я жил в Свиблово, куда доехать ему было далеко и неудобно. Дело было к вечеру, он пришел ко мне как-то подчеркнуто официально одетый, черный костюм, галстук, белая отглаженная

рубашка, даже, кажется, еще и жилет. Это вовсе не было его стилем и выглядело слегка искусственно. Разговор, как всегда, шел о том, о сем, с заездами в философию, с экскурсами в жизнь, когда в конце собеседник мой как-то загадочно спросил: «А какое отношение все это имеет к теологии?» К теологии наш разговор никакого отношения не имел. Точно так же можно было спросить об отношении его к любому другому предмету. Но этот вопрос-зигзаг, в чем-то подобный нашей первой встрече, мне понравился.

В ту пору я был, что называется, неофит, только год назад крестившийся, и тема теологии могла вывести к «разговору о главном». Но «о главном» тогда не получилось, потому что логика моего собеседника имела свою причудливую траекторию и шла по касательной вокруг каких-то интеллектуальных имен и предметов, но не пускала дальше, в сокровенную глубь души. А после моего прямого вопроса: «Како веруеши?» — наша беседа плавно соскользнула на какую-то совсем другую тропинку. И все же к этому разговору мы вернулись, и очень конкретно, года, по-моему, через два, когда мой друг захотел креститься. Но захотел тоже как-то неразъясненно, не был уверен, что захотел. Он предложил мне быть крестным, и однажды летним утром, никого не предупреждая, ни с кем не договариваясь, мы поехали в Новую Деревню к о. Александру Меню креститься. Бибихин позвонил мне и объявил: «Едем завтра или послезавтра». С о. Александром он был уже знаком, у него бывал. Но о. Александра на месте мы не застали, а он был точнейший человек, значит, действительно все было чистой воды импровизацией. Был настоятель, старый священник о. Григорий, который уже выходил из храма, окончив службу, седобородый, усталый, и мы ему на пороге и объяснили: вот, мол, креститься приехали. О. Григорий удивился: «Все же надо было предупредить». Помню его фразу: «Ну если вы настаиваете, я вас окрещу, но...» Вот на этом «но» все тогда и остановилось. Настаивать Володя не стал, решив, видимо, что так будет лучше и промыслительней. Потом мы долго гуляли в окрестностях, купались в речке, вернулись в Москву уже ближе к вечеру. «Главное» осталось недовершенным, несовершенным. Когда оно наконец совершилось, я так и не узнал. Все главное, не только религиозное, он носил в себе. Знаю, что какое-то время, в 70-х, Бибихин был прихожанином о. Александра Меня.

В это время мы оба уже работали вместе в секторе научной информации Института философии, что на Волхонке, куда, кажется, я ему и советовал устроиться. Сектор занимался в основном переводами и выпусками реферативных сборников для закрытого пользования. Предполагаю, что там, в этих сборниках, где-то, наверное, еще хранящихся, прячется множество отличных его переводов, так им и не опубликованных, может быть, даже забытых. Помню, в ту пору я начал переводить для сектора «*Письмо о гуманизме*» Хайдеггера, но с этой задачей тогда не справился, потом его великолепно перевел Бибихин. У него вообще было изумительное чувство языка — как родного русского, так и множества иностранных, которые он непонятно когда и как выучил. Это было время наиболее тесного общения, ибо по крайней мере два раза в неделю мы встречались в стенах Института на рутинных заседаниях нашего переводческого сектора. Потом часто гуляли, беседуя, по Гоголевскому бульвару. Сейчас и не упомнишь всех этих встреч и стольких бесед. Помню, что Володя никогда никого не осуждал, обо всех хорошо отзывался, многими даже восхищался, особенно Аверинцевым, но ни о каком собственном его творчестве не было и намека. Оно как бы таилось в нем. Встречались мы и у Наталии Леонидовны Трауберг, которая ставила Бибихина, в ту пору никому не известного, выше самого Аверинцева, кумира московской интеллигенции, считала Володю поразительно талантливым, но «со своими странностями». Эта закрытость при всей дружбе и общительности и была, наверное, одной из «странностей». Одно время у нас даже возникла переписка по поводу «*Переписки из двух углов*» Вяч. Иванова

и Гершензона; помню, что письма Володи были под стать ивановским, как по идеям, так и по стилю, хотя при этом он демонстративно очень сочувствовал «бунту» Гершензона. Сейчас мне кажется, что у моего друга было какое-то сходство с Вячеславом Великолепным: его любезность, внешняя мягкая общительность, поразительная эрудиция, родина, обретаемая во многих культурах и языках, изящная витиеватость слога, утаивание своего таланта до зрелых лет и вообще утаивание главного... Даже внешне в них было какое-то сходство. А переписка с ним погибла вместе с сотнями других писем и рукописей, изъятых у меня во время обыска в 1985 году.

В 70-х годах Станислав Джимбинов, известный критик, специалист по западным литературам, показал мне напечатанное на машинке эссе с разбором стихотворения «Куст» Марины Цветаевой. Джимбинов, человек, как говорится, прочитавший все книги, но не написавший, кажется, ни одной и потому весьма скептический, редко кого хваливший, был буквально потрясен. Я хорошо запомнил этот текст: он начинается со слов «В 1922 году англичанин Беллок предложил...» не переводить буквально, а пересказывать, превращать событие одного языкового мира в событие другого. Это было подано как истолкование Хайдеггером цветаевского «Куста», хотя немецкий философ едва ли читал это стихотворение, если вообще интересовался Цветаевой. Текст был представлен именно как перевод, словно внезапно став русским, Хайдеггер услышал и воспринял Цветаеву так, как он умел слышать и воспринимать Гельдерлина, Рильке, Тракля. Разбор «Куста» был полон удивительных прозрений и, несмотря на необычность замысла, ничуть не казался искусственным. Он просто был брошен в самиздат, и только исключительная своеобычность вынесла его к читателю и не дала потеряться. Ибо самиздат тек почти как река, в которую нельзя было войти дважды, все тонуло или уносилось прочь, почти не задерживаясь.

До сих пор не знаю, опубликован ли где-нибудь этот прихотливый и изящнейший анализ. Он не был подписан, хотя авторство такого рода размышлений в брежневские годы не несло с собой никакой опасности, даже если его автор — сотрудник идеологического Института философии. Мне потом, годы спустя, почти случайно удалось узнать имя автора. Да и собственно, близко зная его, догадаться об авторстве было легко, как говорят, по «когтям», в данном случае гениальным. Однако Библихин никогда не пересекал даже воображаемые, им поставленные границы, как всем казалось, даже вполне безопасные. Он был по-своему подчеркнута лоялен, но не из страха, а из какого-то странного, мне не очень понятного смирения, непоказного, чуть юродивого, которое не давало ему подписывать своим именем неведомые шедевры и фактически терять их. У него был уже готов прекрасный перевод «Триад в защиту священно-безмолвствующих» св. Григория Паламы, сделанный по заказу Московской Патриархии, о чем я узнал случайно и проболтался знакомому. Тот умолял меня достать почитать («ибо как без Паламы спастись?»), в чем Библихин всегда ласково, смущенно, но неуклонно отказывал. (Помню, Володя, улыбаясь, привел мне обоснование цензора, запретившего тогда эту публикацию: «Там все про молитву и про молитву, а если люди будут все время молиться, когда работать будут?») Нет, то, что не опубликовано и в общем не разрешено, «не стоит, наверное, и читать». Это столь характерное для него, дружески уклончивое «наверное» было крепче скалы, хоть на коленях стой, хоть ломом грози, через него не пробьешься. Когда же тот перевод вышел, он был подписан смиренно «Вениаминов», как бы только намеком, образованным от отчества. Почему? Этот вопрос, так и оставшийся без ответа, тоже часть наших давних, иногда сложных, отношений.

Сложность эта проявилась в 1980 году, во время моего увольнения из Института философии. Увольнение было предрешиено, ибо я уже перешел красную черту, отделявшую мир спрятавшихся антисоветчиков от высунувшихся, подписал письмо в защиту о. Глеба Якунина, опубликовал под собственным именем (а не под псевдонимом, как раньше) статью о Льве Шестове в Вестнике РХД. Ну, просто невозможно стало больше прятаться. Об увольнении меня официально предупредили, все было предрешиено, но поскольку должность моя была конкурсная, то и увольнение должно было произойти по конкурсу, т. е. голосованием, причем тайным. Просто не справился человек со своими простыми обязанностями, и коллектив должен был его из себя извергнуть. Так все в конце концов и произошло, в соответствии с правилами советской демократии почти все проголосовали за увольнение (двое, кажется, против), и я был честно уволен как не прошедший по конкурсу, т. е. для интеллектуальной переводческой работы не годный, хотя мои рабочие показатели были немного выше, чем у других. Попросившись на покой по собственному желанию, я мог бы уберечь трудовую книжку от этой черной, обидной метки. Но поскольку черная метка стояла уже на всей моей личности, никакого советского будущего у меня уже не было, то и уволиться я решил демонстративно, по всем правилам и в свое тщеславное удовольствие.

Володя тогда очень с этим не согласился, и я помню, когда это голосование еще только подготавливалось, мы с ним долго обсуждали этот предмет, гуляя все по тому же Гоголевскому бульвару. Его позиция казалась мне добровольным конформизмом, как бы искренним, от души, а не по необходимости. Он все уговаривал меня подать заявление по собственному желанию, мы долго и безуспешно спорили, но теперь я понимаю, что мной тогда двигала скорее диссидентская гордыня, которая поставила моих друзей и сотрудников перед необходимостью голосовать против меня, чего им, как бы они ко мне ни относились, конечно, не хотелось. Но Володя уговаривал меня не столько из желания избежать неприятной ситуации, сколько из какого-то принципа смирения перед судьбой и системой, чего я как раз принять и не мог. Следуя тому же принципу, он не подписывал столь важный и ожидаемый церковным народом перевод Паламы собственной фамилией, а когда отдавал машинистке перепечатывать свои рукописи, располагал греческие и санскритские слова так, чтобы не выставлять образованности, а как-то робко, сбоку, и госпожа машинистка, которая, конечно, знает все лучше, чем он, могла бы, печатая, все это на ходу исправить, как нужно.

Последняя настоящая наша встреча состоялась где-то в середине 90-х уже в Италии, куда он был приглашен на конференцию в Бозе. Он не делал доклада, но выступал в прениях. Кажется, даже по-итальянски. Это было за восемь лет до его кончины, но уже тогда меня поразила его резкая худоба, которая предвещала что-то недоброе. Он говорил мне, что выпустил несколько книг, что «Язык философии», которую я видел в Нью-Йорке у своего друга, это уже старье. Он так и сказал, с оттенком даже смиренного презрения: «Старье». Очень гордился, что в новом браке у него было четверо маленьких сыновей. Рассказывал, как бедствовал он в начале 90-х: «Идешь мимо магазина и едва можешь вспомнить: зачем он вообще существует, этот магазин». Теперь все как-то выправилось. А я говорил, что мне больше всего не хватает в Италии обыкновенного леса, в который можно уйти и потеряться, на что он сказал, что собирается прочесть целый курс лекций под названием «Лес». Я просил его указать издательство, где я мог бы опубликовать свой перевод «Скудельных сосудов» о. Габриэля Бунге, он кого-то посоветовал, но его советом я не воспользовался, найдя другое решение. Я знал, что у него уже вышел перевод «Бытия и Времени» Хайдеггера, что было уже невиданным подвигом самим по себе; естественно, я попросил эту книгу. Он сказал мне, помню почти

дословно: «Мне надоело видеть, как люди врут в переводах. У меня даже слова, когда они перенесены с одной страницы на другую, совпадают с немецкими переносами». Это, конечно, сильно отличалось от того, что когда-то предлагал англичанин Беллок (цветаевский «Куст»), но Володя умел переводить и в вольной манере, и в точнейшей. Как обычно, расставаясь, мы договорились о неопределенной встрече в будущем, которой, по сути, не суждено было произойти.

Впрочем, нет, если говорить точно, она состоялась на Свято-Филаретовской конференции «Духовные движения в народе Божьем» в сентябре 2002 года, которая проходила в Институте философии. Том самом, где оба мы когда-то служили безмолвными служаками перевода, а на этот раз каждый из нас делал свой доклад. Но в суматохе встреч, приветствий, пересечений подлинно дружеской встречи так и не получилось, ведь никогда не знаешь, какой встрече суждено быть последней.

Я не знал того Владимира Вениаминовича Библихина, который стал сегодня знаменитым автором. Не видел его новой семьи, не слышал его лекций. Все, что я могу рассказать, — это выжимка из долгих прогулок по Гоголевскому бульвару и нескольких встреч, которые сохранила благодарная память.

Литература

Библихин В. В. Язык философии. Языки славянской культуры. — Москва, 2002. — 416 с.

Библихин В. В. Лес (hyle) (проблема материи, история понятия, живая материя в античной и современной биологии). — СПб.: Наука, 2011. — 425 с.

Хайдеггер М. Бытие и Время // Перев. с нем. Библихина В. В. — М.: Ad Marginem, 1997. — 452 с.

Reference

Bibikhin V. V. YAzyk filosofii [Language of philosophy]. YAzyki slavyanskoj kul'tury. Moscow, 2002. 416 p.

Bibikhin V. V. Les (hyle) (problema materii, istoriya ponyatiya, zhivaya materiya v antichnoj i sovremennoj biologii) [Forest (hyle) (the problem of matter, the history of the concept, living matter in ancient and modern biology)]. SPb., Nauka Publ., 2011. 425 p.

Heidegger M. Bytie i Vremya [Sein und Zeit] // Trans. by Bibikhin V. V. Moscow, Ad Marginem, 1997. 452 p. (Russian translation)

My Memory of V. V. Bibikhin

Father Vl. Zelinsky,
archpriest, rector of the parish «All Who Mourn Joy» in Brescia (Lombardy),
elrish@yandex.ru

Abstract: This publication is the memoirs of father Vladimir Zelinsky about Vladimir Veniaminovich Bibikhin. It was read by E. Sagetdinov at the First Readings in memory of V. V. Bibikhin, held in 2019 in the city of Bezhetsk, Tver province.

Keywords: Bibikhin V. V., father Alexander Men, Trauberg N. L., Jimbinov S., father Gleb Yakunin, Avernitsev S. S.